

## Метафизическое мужество

Древние видели добродетели в связке: мужество, мудрость, справедливость. Христианство поставило выше другую связку: вера, надежда, любовь. В обоих случаях мыслится связь, целостность, вне которой добродетели могут выродиться. Например: мужество – храбрость – отвага – лихость – безрассудство – опрометчивость. Добродетели совершенны, если они опираются друг на друга. Мужество не опрометчиво и милосердно к побежденному. Но иногда что-то одно выдвигается на первый план. В Послании к Коринфянам Павел во главу угла ставит любовь; а в Послании к Евреям, которое ему приписывается (но это текст III в.), на первом месте вера. Можно объяснить сдвиг массовым наплывом неопитов в церковь и невозможностью передать тысячам и тысячам свою живую любовь к Христу. Но если вера не открывает дорогу любви, то она мало чего стоит, вспоминается шутка про гусиные лапки: сам не ел, "но мой дядя видал, как барин едал".

Мужество, мудрость и справедливость не исчезают из пространства христианской культуры, но смотрятся по-новому: мужество сочетается со скромностью, со смирением (Максим Максимович у Лермонтова, Тушин у Толстого). Лихость оборачивается пороками: гордостью, наглостью. В сложном обществе мужество делится на военное, гражданское и – метафизическое. Выдвигается личность, слабее становится чувство локтя, опора на товарища. "На миру и смерть красна" – поговорка, сложившаяся, когда сражались в плотном строю. Однако чувство моральной опоры сохраняется и у одинокого солдата. Он один, справа и слева бегут, но за ним – родина. В гражданском мужестве приходится прямо идти против "мира", против народа. Иногда за тобой кучка единомышленников. Так протестовали семеро против оккупации Чехословакии. Иногда и этого нет.

В метафизическом мужестве ты один против всей бесконечности. Возможно, термин, выбранный мной, неточен. Я его сам придумал. Началось с тангенсоиды, ушедшей в бесконечность. Я вдруг пережил эту математическую абстракцию экзистенциально. Я сам полетел в дурную, темную бесконечность и не был уверен, что вернусь, как обещает тригонометрия, живым и здоровым, и даже здоровее прежнего, как Ахилл, погруженный в Стикс. Ужас погружения в бесконечность был так велик, что я запретил себе на несколько лет обдумывать свой опыт.

Четыре года спустя Тютчев, Толстой и Достоевский расшевелили во мне метафизический страх, и я решил помужествовать с ним. Мне было двадцать лет. Во мне сложился целый личный мир, с Гамлетом и другими любимыми героями, и я решил испытать – превратится ли все это в ноль, поделенное на бесконечность, – или что-то останется? И тогда уравнение  $N : ? = 0$  станет математикой, не имеющей никакого отношения к моей жизни, и такой же абстракцией станут модели вселенной, придуманные физиками – от Коперника до Эйнштейна. Уверившись в силу своей мысли, я стал упорно толкать ее в черную дыру бесконечности. Через три месяца во тьме что-то заблестало и пришли мысли, которые я принял за решение загадки. Моя приятельница А. К. свела их к двум известным вещам: объективному идеализму и субъективному идеализму. Я обиделся, но задним числом признаю, что она была права.

Впрочем, моя неправота была интереснее ее правоты. Лет 20 спустя, познакомившись с буддизмом дзэн, я понял, что дело не в словах, а в выходе из "помраченного сознания"

(живущего в плену абстракций) на глубину, где абстракции теряют силу. На войне эта глубина, к которой я воззвал, дала мне свободу от фронтового страха. После тридцати минут шоковой дрожи я вдруг подумал: я не испугался бесконечности – стоит ли пугаться нескольких хейнкелей (немецких бомбардировщиков)? И воспоминание о чувстве глубины дало мне радость от преодоленного страха, с которой я потом прошел от Волги до Берлина.

Впоследствии я набрал целый круг метафизических вопросов: почему страдает невинный? Почему страдают дети? Почему умирает бесконечно любимая Эвридика? Почему Лев Толстой, со всеми своими чудесами слова, станет прахом? Почему Гоголь чувствовал обреченность мукам ада? Почему Христос не ответил ему, как Силуану: держи ум свой во аде и не отчаивайся? Среди этих вопросов был и паскалевский, заново пережитый Тютчевым, Толстым, Бубером и мной самим сперва в 16, потом в 20 лет. Во всех этих случаях надо было выдержать вызов страха до рождения противовеса в собственной душе. Не ответа извне, а внутреннего противовеса. Таким образом, сила рождает силу. Начальная сила (готовность помужествовать) рождает большую силу, раскрытость уровня глубины, где страх тонет вместе с обидой и ненавистью и всеми болями "помраченного сознания".

Если бы я начал борьбу в 16 лет, я мог бы свихнуться. Мужество связано с мудростью, и мудрость знает, на что мы неспособны, и не лезет на рожон. Мудрость знает нашу силу и презирает опрометчивость так же, как и трусость. Я избегал драк, потому что знал свою физическую слабость, но был смел в слове, и в слове дерзал на поступки, грозившие гораздо большим, чем разбитый нос. Подталкивала сила, подталкивала способность сделать то, что другие не смогут. Мандельштам был просто трусом в быту и героем в стихах. Сила толкает помужествовать: если не я, то кто?

Преодоленный страх вызывает опьянение, и пьяному море по колено. "Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог..." Полет над страхом захватывает и рождает беспечность. Известная доля беспечности необходима, когда речь идет о самом себе; постоянное чувство опасности утомляет. Но личная беспечность легко переходит в опрометчивость, и непродуманные решения губят людей. Нужен противовес к противовесу: трезвость. В том числе в упоении метафизическим мужеством. Елена Львовна Майданович передала мне слова вл. Антония: "Трезвость выше вдохновения". Я сразу ответил ей: "Для него! Потому что вдохновение всегда с ним". Она подумала и сказала, что вспоминает минуты, когда в глазах вл. Антония вспыхивал огонь – и он тут же удерживал себя. Его усилие направлено было к трезвости. Наше положение сложнее: сперва ищешь вдохновения, а потом уже – противовес к экстазу.

Я думаю, что эта мысль была и у Будды, когда он говорил о срединном пути. Будда решительно запрещал форсирование экстаза. Тантризм, раскачивающий плоть, чтобы чувственный экстаз подвел к духовному взлету, создает больше опасностей, чем преимуществ на духовном пути. Когда Уоттс предлагал использовать наркотики (под наблюдением наставника, как в практике тантризма), Судзуки ответил коаном Чжего-Чжоу: "Учитель, укажи мне Путь. – Ты уже позавтракал? – Да. – Так пойди и вымой свою миску". Просветление – не опьянение. Это свобода от помраченного ума без захлеба свободы. Оно не отрицает будничную жизнь, не отрывает от нее, а подсвечивает изнутри. По определению Судзуки: "Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей".

Одна замечательная поэтесса, слушавшая мою лекцию, возразила мне, что лирика

Цветаевой была бы невозможна без авантюризма, без полета вниз головой. Я подумал и согласился, что граница вырождения экстаза в лирике другая, чем в руководстве боем. "Луна лунатику" – метафора внутреннего состояния, которое может обернуться и злом, и подвигом. Само по себе оно еще ни то, ни другое. Это поэзия вдохновения как вдохновения, без постановки вопроса о цели. А "Молодец" – не просто полет. Это полет в ад. И в "Искусстве при свете совести" Марина Ивановна пишет: "В "Молодце" я никакому Богу не служила. Знаю, какому богу служила...".

При постоянно обновляемом чувстве глубины, где зла нет, сюжет "Молодца" не захватывает. Скорее отталкивает. Там покой. Там ровный свет истины. Бурные вспышки экстаза возможны на пути в глубину, но глубина останется недостижимой, если порыв не уравновесит трезвость. Вспышки экстаза не безопасны. Они могут вести и к безумию (как в рассказе Чехова "Черный монах"). Искусственно вызванные экстатические состояния иногда обнажают скрытые в подсознании нравственные раны, чувство вины, чувство краха – и требуют специального лечения (это показали опыты американского врача Мастерс). К этому же могли вести монашеские подвиги. Испытания св. Антония хрестоматийный пример. Научный интеллект убивает бесов неверием, но зато мучает "дурной бесконечностью". Почувствовав свое одиночество во вселенной, человек склоняется либо к сознанию ничтожества, либо к призраку величия. У Достоевского из этого пытается выпрыгнуть Кириллов. Штейнер назвал первое искушение ариманизмом, второе – люциферизмом.

Дойдя до глубины созерцания, где призраки исчезают и сгорают страхи, надо сдерживать себя, чтобы духовный огонь горел в очаге и не сжигал стены. Этот культ сдержанности есть во всех великих традициях. Православный термин – трезвение почти забыт, потому что и вдохновение забылось. И появляются секты, ищущие вдохновения в плясках, повторяя ритмы примитивных племен, "тантризм московского разлива". А на другом полюсе – обрядоверие, в лучшем случае истовое, чаще – равнодушно казенное. Метафизический люциферизм перекликается с духом русской революции, ариманизм – с политикой "подмораживания" России и "Черной сотней".

Чистое вдохновение спокойно и мудро. Оно не выдергивает человека по ту сторону добра и зла, не бросает в люциферизм. Оно не сворачивает с полдороги в поисках массового успеха. Эта прелесть захватывает и очень одаренных людей – например, Раджнеша. Его можно читать – сохраняя готовность отбора зерен от плевел, – но нельзя признать учителем. Другая прелесть – полное недоверие учителям, полное пренебрежение традицией и логикой, основанной на принципах. Я приводил цитату о Божьем следе; вл. Антоний с уважением говорит там о человеческой опытности и призывает отбросить опыт пережитого только тогда, когда неслыханно новое не укладывается ни в какие старые рамки. Приведу это замечательное рассуждение еще раз: "Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах – нравственных, богословских или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы, – христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью – но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни, и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью (Божеской. – Г. П.) и человеческой опытностью. Опытность результат

прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает "безумно". Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог" (см. "Континент", 1996, № 89).

Полное господство аксиоматического мышления, господство логики разрушает чувство целого, чувство священного, приводит к распаду всей системы нравственных норм, всей иерархии ценностей. Учеником философа был Нерон. Философия не помешала ему убить свою мать и поджечь Рим, чтобы любоваться пожаром. А в это время ап. Павел спасал людей "безумием проповеди". Он не был юродивым. Его послания обнаруживают замечательного мыслителя, во всем сохранявшего меру. Тогда многие ранние христиане, впадая в экстаз, "говорили языками", т. е. нечленораздельной речью. Павел прямо не запрещал установившегося обычая, но советовал передавать свое чувство осмысленными образами, и глоссолалия сошла на нет. Он умел следовать логике и тактично опираться на традицию. Однако важнейшие мысли его рождались взрывом из глубины. Печать такого взрыва на слове о любви и широко известном изречении: буква мертва, только Дух животворит. Никаких оговорок. Как будто перечеркивается весь Ветхий Завет... – Но ничего подобного! Мертва только та буква, которая противоречит любви (это ясно из всей совокупности посланий). Если же любовь поддерживает букву, то древний текст получает новое подтверждение. И Павел смело перекраивал иудаизм, не жертвуя ничем главным, глубинным, укреплял пути в глубину. Так же и разум не отбрасывается бездумно, лишь бы поплыть без руля и без ветрил, а только тогда, когда мудрость века сего становится безумием и новая Троица - вера, надежда, любовь, из которых главнейшая любовь, – дает новое понимание мужеству, мудрости и справедливости.

Видимое отрицание Павлом традиции и разума есть установление новой иерархии, иерархии духовной глубины. Метафизическое мужество выводит из рабства готовым образцам – безразлично, традиции или логики, отбросившей традицию, – чтобы найти в собственной глубине чувство "Божьего следа", интуицию истины поверх принципов и правил.

Поиски Божьего следа – сосредоточенность на том, что велит бесконечная любовь, иногда в согласии с принципами, иногда порывая с ними. Богословы выстроили несколько замечательных догм, которые очень хороши как примеры. Но нужно найти красную нить Божьего следа сегодня, сейчас, в непредвиденной обстановке, которой не было в дни Халкидонского собора. И нужно иметь личное мужество действовать вопреки заповедям (кроме двух наибольших – о любви). Антоний говорил, что в 1939 г. пошел бы на войну добровольцем, без повестки о мобилизации, хотя убивать грех. И есть канон св. Василия Великого, что воин, вернувшийся с войны, три года не допускается к причастию, потому что грех, даже необходимый, остается грехом.

В истории человечества есть эпохи, требующие поворота, отказа от установленных образцов, интуиции перемен. Так в Осевое время возникло аксиоматическое (или постулятивно-логическое) мышление, так оно исчерпало свое господство и потребовалось восстание против мудрости, ставшей безумием. А потом снова понадобился поворот, поворот от внешней дисциплины, от покорности церкви, воспитывавшей рабов Божьих, а не детей Божьих, церкви, забывшей слова: "познаете Истину, и Истина сделает вас свободными". Этот поворот открыл Новое время, со всеми его завоеваниями и кризисами, чем дальше тем более глубокими.

Движение к свободе пошло не столько вглубь, сколько по поверхности, и поверхность пожрала глубину. Свобода от религиозного фанатизма открыла дорогу опасностям идеологического фанатизма. Свобода от разрушительных стихий природы не уберегла от беспомощности перед разрушительными стихиями самой цивилизации, от запутанности и заброшенности человека в техногенных джунглях. Все меньше остается места для созерцания, для движения в глубину. И снова наступило время, требующее мужества поворота, переоценки ценностей. Культуру, рассыпавшуюся на тысячи прутиков, культуру шизоидной расколотости надо вновь связать "Божественным узлом". И может быть, Божий след, ведущий к этому узлу, – в развитии "религиозной музыкальности", религиозного чувства поверх различий догм и образов, не упраздняя их, но покоряя духу любви. Здесь с вл. Антонием перекликается пастор Вурмбрандт, мученик веры, писавший об этической простоте выбора между использованием обрядов и догм, чтобы нападать на других, и единством веры с любовью.